

Алексей
Рачунов



ГЛЯДЕН

Пепельное имя

исторический контекст

Исторический контекст

Алексей Рачунь

Гляден. Пепельное имя

«Издательство АСТ»

2026

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6

Рачунь А.

Гляден. Пепельное имя / А. Рачунь — «Издательство АСТ»,
2026 — (Исторический контекст)

ISBN 978-5-17-182588-1

«Гляден» – историческая драма, в которой древняя магия пронизывает суровую реальность Урала XVII века. Пореченский Остяк Русай и его сын Боляк плывут к святилищу Гляден, испросить защиты для своих земель. Но паломничество оборачивается чередой смертельных испытаний – их подстерегают мистические существа, шаманские интриги, изуверские ритуалы и битвы с кочевниками. Преодолевая проклятия и искушения, герои невольно меняют судьбу всего Поречья. Роман завораживает самобытным фольклором коренных народов, детальной реконструкцией языческих обрядов и напряжённым сюжетом. Особую глубину роману придаёт связь с историей: образ мальчика Боляка навеян судьбой рудознатца Боляка Русаева – одной из знаковых, но ныне забытых фигур, чьё дело способствовало освоению богатств Урала и превращению его в «Опорный край державы».

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-182588-1

© Рачунь А., 2026
© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	19
Глава 4	26
Глава 5	31
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Алексей Рачунь Гляден. Пепельное имя

Серия «*Исторический контекст*»



© Алексей Рачунь, 2026

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Часть первая К Глядену

Глава 1 Пасека Щелкана

Гаснувший день оплывал мёдом. Блестела река, звенел пережат. Густел дух травостоя. Застыла в рогозе цапля.

– Есть ли имя у этой реки? – спросил Боляк.

Старый Щелкан оторвал ладонь от кустистых бровей, задумался и шамкнул:

– Ня знай.

– Должно быть имя у реки, аляб-бабай¹, – уверял Боляк, стоя в воде на одной ноге. – Иначе это не твоя река. И не твоя земля.

– Ня знай, тем более! На мой век хватит. Скоро и эта земля будет не моей, и вся земля – не нашей.

– Почему, аляб? – нахмурил брови правнук.

– А кто её защитит?

Боляк огляделся. Линялый лисий хвост подрагивал на верхушке старого рассохшегося болвана, чьи грубо вырубленные топором губы давно не знали жертвенной крови.

– Я защищу!

– Вот ты и давай имя, – отвернулся старик.

Мальчик задумался.

Говорят, в здешних местах раньше жил змей, упавший с луны. Его слёзы – хрупкий, ломкий камень медового цвета, порой вымывает вода из обрывистого берега. Удивительно: змей давно умер, но до сих пор плачет...

Думая, Боляк успел выбраться из узкой речушки на взгорок к старику и, усевшись рядом, начал снимать мокрые чуни.

– Пусть будет Мэ-ва. Медовая река!

– А пускай, – согласился аляб уже вслед скачущему меж ульев правнуку.

– Ай, крепкий огын² растёт. А какой рассудительный! – хмыкнул Щелкан и снова поднёс к бровям ладонь.

За рекой, по недавно выкошенному от медоносного клевера косогору, спускался кто-то конный.

– Боляк, погляди, – позвал Щелкан, – кто там едет?

– Ня знай! – передразнил мальчишка и отвернулся, выпятив губу.

Щелкан потянулся было к посоху-ятапасю³, чтобы огреть им строптивца, но правнука и след простыл.

– И норов есть, – не без удовольствия рассудил старик вслух, по давней привычке отшельника-пасечника. – Видать, правду говорят, что его отец Русай рождён от русского.

¹ Аляб-бабай – общее название родственников-стариков – дед, прадед, старый дядька (здесь и далее – комментарии автора).

² Огын – богатырь.

³ Посох-ятапась – *ятапась* это и есть посох, но на языке пореченских остяков.

Русских воинов было много оставлено в здешних местах Ермаком, чтобы прикрывать с тыла поход за Камень. Тогда Ермак переплыл на стругах горы, а обратно уже не вернулся. И русский дозор остался в поречье навсегда.

Правда, Русай норовом вышел покладистый и доверчивый, чистый остяк. А буйная русская кровь вскипела уже на Боляке, – спорил сам с собой старик.

И уверял себя, что так бывает. Не во всяком поколении и не у каждого вспревают жилы особой, поперёк рода, статью.

Старик зажмурился. Притаившийся за старой, обомшелой колодой Боляк хихикал, едва сдерживаясь, чтобы не расхотаться в голос. Он до слова знал, что скажет Щелкан дальше.

Про то, как смолоду аляб и сам был сноровистым и хватистым и как в борьбе клал на лопатки любого соперника. А уж про то, как он сходился в схватке с медведем-ошем⁴, знало, кажется, всё поречье.

В рассказни Щелкана верилось с трудом, но побитая шкура медведя до сих пор грела старческие кости. А уж на пасеке всякое дело у старика спорилось и сейчас.

И если прадед уверяет, что сквозь мутнеющую пелену прошлого он видит в Боляке юного себя, – почему бы не сделать вид, что веришь в эту сказку? Вдруг так и вправду отраднее доживать век?

А всадник уже одолел крутую половину косогора и, бросив поводья, спускался по выположке⁵ к реке. Теперь даже подслеповатый старик разглядел, что это был Русай – отец Боляка и внук Щелкана.

– Эй, Боляк, отец едет! Беги встречай! – позвал Щелкан.

И песчаный вихрь тотчас залепил его старческие бельма. Это, буровя пятками рыхлый песок, к реке промчался правнук.

Старик, опираясь на суковатый ятапась, заковылял к щому⁶ – крытой берестой щелястой юрте. Гостя требовалось угостить, подать на стол лучшее: разваристую, забелённую мукой полбу, провёслую⁷ лосятину, вяленые рыбы спинки, медовые соты, ягодный взвар.

А уже после – приступать к известиям.

Внук Русай был Щелкану вместо сына. А сын, давным-давно не выдержав гибели жены и слухов о том, что Русай ему не родной, спихнул малолетнего ребёнка на Щелкана и его старуху.

И ушёл за Камень – куда-то на Васюган или Конду, в те места, что, в отличие от поречья Ирени и Сылвы, ещё озарялись божественным светом золотого изваяния праматери всех людей Санкэ-Саринат.

* * *

Боляк проснулся ночью от шума дождя по кровле таскака – хозяйственного навеса, косо прилепленного к щому. Он любил спать здесь, на прохладе, бросив в расколотую пчелиную колоду охапку сена.

Ему с трудом удалось заснуть – настолько взволновали прибывшие с отцом известия. Боляк часто просыпался, проверяя, не настало ли утро: ведь ему не терпелось скорее до него дожить.

⁴ Медведь-ош – *ош* – медведь по коми-пермячки. В верованиях пореченских народов медведь имеет двойственную сущность: он как бы и животное, и человек.

⁵ Выположка – место, где крутой косогор переходит в более пологий, но всё ещё заметный спуск, на котором не разгонишься. Для людей, много времени проводящих конными, такие детали существенны.

⁶ Щом – легкое сооружение с каркасом из шестов, крытое берестой или шкурами.

⁷ Провёслый – вяленый. Пермское, охотничье словечко. Провёслая лосятина оленина – привычное блюдо тех мест и того времени.

А утра всё не было. Была ночь; она ворочала Урталеи-нях-молын – Млечным путём – как деревянной ложкой в корчаге с густевшим мёдом. А мир всё оплывал и оплывал темью.

Сон больше не шёл. И Боляк стал представлять завтра. Ведь утром он отправится с отцом в первое в жизни путешествие – на далёкий, таинственный, волшебный Гляден. Каково это? Как будет?

Его отец, Русай, ездил на Гляден ежегодно. Всякий раз это случалось после того, как клеверные луга их угодий отцветали. Остяки отдавали их лёсо-русинам под покос, а сами приступали к выжимке мёда.

К этому времени и дед Щелкан попевал с выделкой ясачных шкурок. И Русай, снарядив лодку с корчагами мёда, с куньими и бобровыми сороками, семериками соболей и горностаев, отправлялся в путь.

Ему нужно было сдать ясак главе их родового павыля⁸ – паму Карье – и отправиться дальше, чтобы в конце пути поклониться на Глядене богам: поблагодарить их за богатый урожай мёда и испросить сентябрьского, обильного прибитка с лесных бортей⁹.

А ещё – умолить богов послать щедрого бобрового гона.

Никак было не пережить без помощи богов русаевой дружной семье ни зимы, ни весны: во всём нужно сообразоваться с волей богов, задать множество вопросов и получить от великих вармалей¹⁰ мудрые ответы.

С Глядена Русай возвращался спустя три, а то и четыре седмицы – похудевший, осунувшийся, со льдистыми глазами, какой-то тихий, будто готовый к укорам. Заваливался на старые нарты и отлёживался два-три дня.

Но перед этим всегда подзывал детей, ласкал их и одаривал каким-нибудь гостинцем: костяным ли гребнем или переливчатыми бляшками-подвесками.

Боляка – как старшего – одаривал последним, и так выходило, что всегда самым худым подарком. Но и на коленях отец его держал дольше других, как-то особо – сердобольно и крепко – прижимая к груди.

И вот за эти мгновения Боляк готов был променять любое сокровище.

А теперь настало и его время ехать на Гляден. Стало быть, входил он уже в мужскую, сильную пору.

Уже две осени, как Боляк помогал отцу собирать бортевой мёд. Охватив дерево и поясницу сыромятным ремнём, с глиняным дымокурором на подвесе, взбирался Боляк под верхушки вековых сосен.

Смело окуривал борти и лез, будто заправский ош-древолоз, в самые глубины выдолбленной в стволе полсти. Там таился вязкой глиной янтарный, драгоценный, самый вкусный и полезный бортевой мёд.

Случалось ему, взбираясь к бортям, видеть на коре дерева глубокие следы от когтей медведя. Больше всего их попадалось на болтающейся возле бортьевого устья плахе. Её и подвешивали нарочно для того, чтобы колотить сластёну-оша по башке, когда он ползет, отталкивая её, внутрь за лакомством.

«Уй, какие мощные когти у тебя, медведь! – думал мальчишка. – Если ты пойдёшь за мёдом, нам несдобровать».

– Эй, Русай-этэ¹¹, – кричал он развалившемуся с былинкой в зубах отцу. – Гляди там, не идёт ли ош?

– Не идёт вроде, – посмеивался Русай.

⁸ Павыль – поселение пореченских остяков, деревня.

⁹ Борть – рукотворное дупло в стволе дерева, используемое дикими пчёлами как улей.

¹⁰ Вармаль – великий шаман.

¹¹ Русай-этэ, этэ – это отец. Усиленное обращение к отцу для привлечения его внимания.

А Боляк, поборов страх, уже взбирался выше.

Случалось ему, пробираясь сквозь завалы трухлявых деревьев, вынимать из капкана бобра или, отматывая на лыжах по лесу от восхода до заката, расставлять сторожки-серканы¹² на соболя. И заглядывать в свирепые глаза куницы, что погибала в ловушке, вконец обессиленная, но не утратившая ярости. Знал он и как добыть ласку, и как поставить петлю на хоря – юркого и бессовестного зверя, дерущего домашнюю птицу.

Много всякой работы делал Боляк, много чего умел, но пока не занимался наравне со взрослыми самыми важными делами, был он всё равно мальчик.

А что может быть важнее поездки на Гляден! Ведь отец, бывало, пропадал с половины и до половины луны. А это целая пропасть времени!

И раз Гляден так далёк, значит, это что-то достойное лишь людей готовых. А если Русай-этэ решил взять его с собой, стало быть, и Боляк теперь из таковых.

Дождь шумел по крыше таскака, часто-часто, будто это падали не капли, а лилось овсяное зерно в лошадиную торбу. Под этот шум хорошо было представлять будущее.

Значит, завтра с отцом они сядут в лодки и поплывут по медовой реке. А она, сделав несколько петель-заворотов, вольётся в реку Ирень.

«Ирень, ай, большая! – думал Боляк. – Вода в ней кислая и стремительная. Она лодку понесёт быстро: сначала в Карьев павыль – деревню, где большую часть времени и жил Боляк с семьёй; затем до Усть-Турки, где живут темноглазые, весёлые люди – татары; а потом и до деревни лёсо-русинов – Веслянки».

В Турке и Веслянке Боляк не бывал и считал их очень дальними землями. Дальше них – только Кунгур и Гляден. А Гляден – это уже край мира!

При мысли о Веслянке у Боляка забилося сердце. Ему вспомнилась русская девочка Весняна, что приезжала каждое лето на клеверный покос в угодья боляковой семьи.

В сене остяки не нуждались – из скотины они держали лишь лошадь, а угодья использовали для пчелиного медосбора. И когда луга отцветали, русины приезжали косить, а за это всю зиму присылали в хотэ¹³ Русая молоко и масло.

Весняна давно приезжала на сенокос, но вечно крутившийся неподалёку Боляк не обращал на неё внимания – девчонка и девчонка!

А этим летом они как-то быстро и просто сблизились. По утрам бегали на реку, а вечерами играли в прятки на пасеке да устраивали мелкие каверзы Щелкану.

И когда сенокос закончился, и русины, сметав стога, уехали, Боляк впервые в жизни заскучал. Он долгое время только и делал, что ждал, когда выйдет срок и лёсо приплывут за сеном.

И досаждал Щелкану, и выпытывал у него, когда это будет и как. А потом начинал переживать, что приедут одни мужики – без баб, без Весняны.

И огорчался, и злился, но уверял себя, что огорчается лишь от напрасно потраченного на ожидание времени.

Но сейчас до Боляка дошло, что их путь лежит не просто на Гляден, а ведёт мимо Веслянки. И сердце мальчишки заколотилось сильнее дождевых капель по покрытой корой кровле таскака.

– Эй, сердце, не стучи так, – сказал Боляк.

Он поворочался в колоде, и стук сердца стал стихать. Стихал и дождь. Из плотного, шелестящего шума стали выслушиваться звуки струй, затем они поредели и разбились на капли.

А потом и капли пошли врасплёпку. И Боляк услышал голоса.

¹² Серкан – примитивный капкан из подручных материалов.

¹³ Хотэ – изба с подворьем. Аналог – баз у казаков.

Они были тихими и глухими, и мальчику пришлось вслушаться. Один голос принадлежал отцу, а другой был незнакомый.

Разговор шёл не на остяцком наречии, а на пересыпи остяцких, вотяцких, пермяцких, вогульских, русских, татарских слов – обычной в поречье смеси. Русай говорил что-то неразличимое.

Незнакомый густой голос человека, привыкшего распоряжаться, был твёрд:

– Что поречье – ваша земля – мы признаём, остяки всегда тут жили. Но это и наша земля тоже. Потому я не ряжусь, Русай, а торгуюсь. Продай землю?

– Продай нету, – узнал Боляк голос отца. – Продай царь запретил.

– Царь далеко, – возразил собеседник. – А мы близко.

– Ня знай... Зачем степнякам моя земля, тем более?

– Велик наш род, тучнеют его стада. Степь не успевает давать им корм. Веками гнали мы скот по здешним прохладным рекам – по Куеде, по Тулве, по Ирени... – рассудил тот же голос.

– В моих угодьях вы никогда не пасли, – отозвался Русай. – Моя земля что? Некоторые леса, да овраги, да речонки мелкие, почти ручьи. У меня и пастбищной земли – только эти луга. И то не для скота, а для трав-медоносов... Пчеловод я, Чубар, – обратился Русай к собеседнику по имени. – Здесь у меня колоды, в лесу борти... По ручьям зверь живёт... Бобра бью, шкуру выделываю, железу на снадобья пускаю... Зимой куницу добываю, белку – их сороками. Соболя, горностаю – семериками. Иногда добываю рысь. Волка – только если докучает... Вот, возьми волчью шкуру, дарю! Вы, батыры, любите их носить, дак.

Что-то встрепенулось, и послышался вздох. Чубару явно понравилось подношение.

– Ну, кунак Русай, рехмет! Ай, спасибо! Ох и удружил! Таких волков в степи нет!

– Такого волка, Чубар, не в степи, а в лесу добывают. Уй, по глубокому снегу! Верхом на коне такого не добыть.

– Это верно! – согласился незнакомец.

– Вот и говорю. Я пчеловод и зверолов, тем более... Ты делишь год на четыре времени, а я на три. Вы пору отмечаеете по луне, я тоже так умею. Но ещё мы пору отмечаем по зверю – когда какого добывать. И ты уже так не умеешь. Ваших пор семь и ещё пять, моих пор семь и ещё две...

Чубар рассмеялся:

– Зачем ты мне это говоришь, кунак¹⁴ Русай?

– А зачем скотоводу моя земля? Она живёт, как я и по моей поре. Здесь нет пастбищ...

– Здесь нет, – согласился Чубар. – Зато кругом – много! По Кунгуру, по Ирени, по Сылве сплошь ковыльные просторы, а воды сколько?!

– Воды много, – поддакнул Русай.

– Вот мы и хотим с Тулвы на Ирень свои межи передвинуть. Сначала по твоей земле закрепиться, а потом дальше, в Карьев павыль и до самой Кунгур-реки. А оттуда, дай волю, мы и до Камы дойдём! – воскликнул неведомый Чубар.

– Гляден всегда остяцким оставался, – посопев, возразил Русай.

– На Глядене не бывал, – отрезал Чубар, – да и до Камы далеко. А вот до Кунгура близко.

Мы сейчас о поречье говорим.

Русай вздохнул, будто разговор ему не нравился:

– Ту землю некоторые лёсо пашут. Кто для себя, кто для монастыря.

– Вот именно! – зло сказал Чубар. – Московский царь за монахами эту землю записал вопреки всем уговорам. А какую землю монастыри затем и сами выкупили, хотя и продажу царь тоже запретил.

¹⁴ Кунак – друг.

– Тохтарь, Истекай, Узей, Ягитай, твои сородичи, свои земли по Сылве и Суксун-реке монастырю якобы отписали в дар. А на самом деле – продали. Почему русским землю продаёте, а нам нет?

– Кто продал, с того и спрос, – уклонился от ответа Русай. – А московский царь силён. Русские сильны. Их бог силён. Уй, какие они ему жилища гороят! А мы – слабый народ. Кто нас защитит?

Раздался нехороший, неприятный смех. Боляк лежал, открыв глаза, весь обратившись в слух. Он ничего не понимал, но всё ему было любопытно.

– Думаешь, русские вас защитят? – хмыкнул Чубар. – Да они вас даже не различают. Я вот знаю, что ты остяк, что Щелкан остяк, что Карья-пам остяк. На Турке живут казанцы, а напротив Ермаковых скал, что на Сылве, – выселок вотяцкой семьи Камайки. Я – башкир! А для русских вы кто? Для русских вы все и я тоже – татары. Вот они как нас различают! Для русского царя мы татары, а для русского бога вы никто.

– Мы царю ясак даём, он нас знает, – возразил Русай.

– А если землю нам отдашь, никому ничего давать не будешь! – рыкнул Чубар. – Сюда наш бог придёт, он решать будет, от кого что брать. А ты, Русай, оставайся и живи как жил. Только землю за намикрепи. Мы приведём сюда своего бога, и он тебя собой покроет. Он всех принимает. А русскому богу до вас дела нет...

– Это хорошо, что русскому богу до нас дела нет, – возразил Русай. – Зато он наших богов не трогает.

– Ваших богов не трогает, зато сам сюда идёт! – горячился неведомый Чубар.

– Русский бог сюда сам идёт, а вот вы своего – ведёте.

– Так смотри же, Русай, мы можем и не миром прийти, а с саблей, с арканом, с разорением. Как не раз уже приходили. Помни об этом!

– Здесь все об этом помнят, Чубар-батыр.

– За волчью шкуру благодарю от сердца, а свою береги, кунак Русай!

Всхрапнул конь, раздался хлёткий звук плети, дробно зачавкала под копытами намокшая земля, и вскоре всё смолкло. Затем опять разошёлся дождь, и Боляк уснул.

Ему снился неведомый Чубар – огромный, страшный, на седогривом чёрном коне, вместо попоны покрытом волчьими шкурами.

Будто бы батыр спускался по заречному косогору, а его конь выворачивал копытами из дёрна огромные камни. В одной руке у Чубара была кривая сабля, а в другой он держал аркан и волок на нём своего неведомого бога.

Глава 2

Карьев павыль

– Ай, какой поздний атан¹⁵! – по щелям в кровле поняв, где солнце, крикнул Боляк.

Испугавшись, что отец уехал, он стрелой понёсся к реке, чтобы нагнать Русая в Карьево – родовом павыле пореченских остяков, названном так по имени старого Карьи. Но не того Карьи, что был сейчас старейшиной-памом¹⁶, а его далёкого предка, тоже Карьи. С тех пор так и велось в этой семье: самого первого ребёнка все звали Карьей, а как его нарекли родители, никто не знал.

Считалось, что это защищает от дурного глаза, от плохих мыслей, злых духов да и много от чего ещё. Раньше так поступали с каждым ребёнком, но затем обычаи ослабли и теперь касались только старейшины и шаманов.

Старый Карья-пам был и тем, и другим. В его власти было и общаться с родовыми богами, и следить за сбором ясака со всего рода да сдавать его наезжавшему дважды в год воеводскому сеуну¹⁷. За это все Карью-пама безмерно чтили и уважали и подносили ему дары не по долгу, а от сердца, как заведено.

Боляк вылетел как был, босой, на берег прямо к сушащемуся вверх дном на кóзлах берестяному челноку-пыжу. В руках у него был шест, который он на ходу выдрал из-под кровли таскака¹⁸. Так, с шестом наперевес, он и бежал к реке, будто шёл с рогатиной на медведя, и никого и ничего не замечал.

Добежав до челна, он отбросил шест и стал скидывать судёнышко с козел:

– Ай, как так! – сокрушался он вслух. – Проспал, проспал Гляден. Уй, дурак, Болячка!

Чёлн на козлах разошёлся, расширился, отчего рожки козел оказались внутри. Пойди теперь спихни с них лодчонку! Боляк подсаживался то с одной, то с другой стороны, надавал в чёлн плечом, однако тот сидел крепко, и силёнки мальчишке чуть-чуть не хватало. Но, вместо того чтобы передохнуть и спокойно, не спеша, сделать дело, он заводился, суетился и описал вокруг пыжа уже пятый круг.

И только тогда заметил Русая. Отец стоял возле спущенной на воду дощатой лодки-пермянки. Она была нагружена тюками, мешками, связками, разным скарбом. Это было судно хоть и не очень большое, но куда более основательное, не то что лёгкий берестяной челнок Боляка. На таких весляньские крестьяне перевозили враз по копне сена.

– Ня знай, на таком челне до Глядена не доплывёшь, нать-то! – с насмешкой сказал Русай.

– Доплыву! – тотчас взъярился мальчишка.

Но бушевал Боляк для вида, в душе же у него всё трепетало: не бросил его отец, не уехал один на далёкий, таинственный, манящий Гляден.

Тут подоспел и старый Щелкан. Он молча поднял брошенный Боляком шест, подsunул его под пыж и чуть толкнул. Лодчонка качнулась, завалилась набок и легко соскочила на траву.

Русай прыснул. Боляк хотел обидеться, но пожалел на это времени и тоже захохотал.

– Ой, глупый я, глупый я, Болячка! – смеялся он и катался по траве.

Отец же взял у Щелкана шест, взвесил его в руке и сказал:

– Пойдёт. Этот хутап¹⁹ мой будет!

– Эй, а мой тогда который? – заартачился Боляк.

¹⁵ Атан – час.

¹⁶ Пам – старейшина рода и шаман низкого ранга одновременно.

¹⁷ Сеун – представитель власти, посланник воеводы.

¹⁸ Таскак – сарай, навес.

¹⁹ Хутап – длинный шест для управления лодкой.

– А ты на челноке, зачем тебе шест? Бери весло, впереди побежишь, тем более.

* * *

Пять, а то и больше поворотов – кто их считал? – миновали быстро. Боляк правил челном умело, загребая лёгким веслом то справа, то слева, так что красные глиняные берега лишь свистели по сторонам. Где-то позади ухала, подскакивая от упругого напора шеста, лодка Русая. Он то и дело скрывался за поворотом позади, и у мальчишки вспотела шея – вертеть головой и высматривать отца.

Благо сенокос уже прошёл, и гнус докучал мало. Навстречу тянуло ласковым ветерком, по небу проносились мелкие, будто гусиный пух, тучки. Вскоре показалось иренское устье, Боляк надал веслом, и его неожиданно быстро вынесло на самую стремнину.

Туда, где желтоватая, медвяная вода их родовой реки сливалась с упругим, зеленоватым, будто малахит, иренским потоком. Ирень была рекой коварной, способной внезапно в любом месте образовать убийственный водоворот.

Старый Щелкан рассказывал, будто есть у реки второе русло, текущее под основным, прямо в земле. Плавают по нему змеи Эри, а когда хочет глотнуть воздуха, пробивает башкой иренское дно, и на этом месте образуется воронка. И горе любому существу, оказавшемуся на воде: будь то рыба, птица, человек или корова, забредшая от слепней на глубину. Вмиг засосёт их на дно, в пасть змею Эри.

Говорят, Эри был рождён от соития земного первозмея Фенче и первоженщины Ихьин-Ири. Сблудили они, а расплатился Эри: боги заточили его не в воду и не в землю, а в подземное русло, что пролегает под Иренью.

С тех пор на берегах Ирени не жгут костров. Потому что тоскующий по небесному огню Эри тотчас всасывает их под землю, оставляя на месте кострища родник. Уй, как много их по берегам этой коварной реки!

Но на берегу он способен лишь погасить огонь, а посреди реки – затянуть в водоворот любое существо. Опытные путники, отправляясь в плаванье по Ирени, всегда берут с собой трут и бересту. Брошенного в водоворот зажжённого свитка бересты хватает, чтобы успокоить змея.

И вот сейчас, не успев Боляк оглядеться на стремнине, чёлн завертело в невесть откуда взявшейся воронке. Её края пенились и клокотали, а зев, совсем уже не малахитового, а грязно-бурого цвета, ширился и ширился. Страх лишь на миг овладел Боляком, а в следующий миг он уже отчаянно грёб веслом, пытаясь выбраться из водоворота.

Но бурун кипел, и казалось мальчугану, что из него он слышит глухой, ненасытный рык страшного подземно-подводного зверя. Затем в днище челна что-то мягко толкнуло, и челнок вынесло на спокойную воду.

Боляк ошалело вертел головой. Позади как ни в чём не бывало плыл Русай.

– Испугался? – улыбнулся он сыну.

– Что ты, этэ, – спрятал глаза Боляк.

В два коротких толчка отец поравнял свою лодку с челном и перебросил большой мешок – хиир. В хиире что-то звякнуло, а челнок тут же осел на четверть.

– Похлёбки, нать-то, мало ел, вес как у некоторого полбарана, – усмехнулся отец и перебросил второй хиир. – Сейчас челнок тяжелее стал маленько, крутить уже не будет, тем более.

Боляк зашлёпал по воде веслом, стараясь убежать вперёд. А Русай как ни в чём не бывало затянул песню:

*По реке плыву, Вверх по теченью смотрю, Вдруг догонит меня челнок с прекрасной
девушкой, Нет челнока, лишь утка плывёт. Вниз по течению смотрю, Вдруг я догоню челнок*

с прекрасной девушкой. Нет челнока, лишь гусь на воде. Едва я взгляд опустил, и сразу поднял. А уже улетела та утка, и гусь куда-то пропал. Лишь пустая река. Я плыву по ней будто гусь, И редко-редко, Садится на воду одинокая утка.

А запетлявшая Ирень взялась таскать пыж Боляка от берега к берегу. Водоворотов больше не было, но течение усилилось, и Боляку не раз казалось, что сейчас его прижмёт к крутому, обрывающемуся подмытыми корнями склону. Но потяжелевший чёлн, хоть и откликнулся на взмах весла медленнее, зато ход держал лучше.

И вот за очередным поворотом, едва Боляк отвёл лодку от бьющей в правый берег струи, выплыло прямо на воду, на самую середину реки, большое селение. Вода прела, воздух над ней парил, и вместе с ним парили прямо над водой зимние избы-хотэ с пристройками-таскаками, летние, покрытые завитками бересты щомы, как попало расставленные между высоких двуногих амбаров-щамьё²⁰. И всё это без изгородей, заборов и ворот, лишь с невысокими плетнями, так что было видно всякое хозяйство.

Взмах-другой веслом, и паренье исчезло. На-двинулся откуда ни возьмись землистый, обрывистый, испещрённый стрижиными гнёздами берег.

Кроме жилых и хозяйственных построек, плетней и загонов, жердей-стожар и ошипанных прошлогодних стогов, там и тут торчали врытые в землю брёвна – идолы. На их стёсанных верхушках кривились плоские, неряшливые, грубые личины, такие же старые, разошедшиеся, как и сами столбы.

Всякий пользовался ими по-своему. К какому-то привязали козу, а другой идол приспособили под коновязь. У третьего вымазали губы спёкшейся жертвенной кровью, а четвёртого окатили ей с головой. Видать, какой-то удачливый охотник недавно вернулся с хорошей добычей.

Ещё один идол был обмотан по верху лентой рыбьих кишок, и они развевались и трепетали на ветру, будто сальные седые космы старого Карьи-пама. Бородатый козёл ходил под кишками по кругу и, задрав голову, пытался ухватить их губами.

Тут и там торчали шесты. На наверхних одних реяли старые тряпки, другие, на щегольский башкирский лад, были украшены волчьими хвостами. Между шестов сохло на пеньковых верёвках бельё. Носилась в воздухе пыль, бегали голоштаные ребятишки, а собаки, завидев челнок, уже лаяли с крутояра.

Боляк направил пыж к галечной, поросшей кувшинками и дудками отмели с мостками для полоскания белья. Здесь было множество лодок. Всё Карьево держало на отмели суда. Над берегом высилось торжище, здесь же стояло и жилище Карьи-пама, и вообще кипела жизнь всего павыля.

Ткнув пыж носом в отмель, Боляк спрыгнул в воду и, не обращая внимания на сбежавшую малышню и лающих собак, принялся вытаскивать судёнышко на берег. Он не любил Карьево. На пасеке старого Щелкана, где всё было и ладно, и тихо, ему нравилось куда больше, нежели в многолюдья павыля. И сейчас он старался всем видом это показать.

Да и что он мог сказать этой сбежавшейся малышне, среди которой были и его сёстры? Он, взрослый человек, отправившийся в далёкий путь на Гляден, – разве было у него что-то общее с этим бестолково щебетавшим роем? Теперь ему никак нельзя было уронить себя, требовалось соблюсти важность и степенность.

Тотчас подоспел и Русай. И Боляк взялся помогать отцу выводить лодку к берегу. Затем он так же степенно, сохраняя надутый вид и ни на кого не глядя, поднялся в павыль. А Русай о чём-то болтал с ребятнёй, хохотал да одаривал всех пергой в сотах.

²⁰ Щамьё – лабаз, небольшой амбарчик для припасов, стоящий на открытом месте на двух высоких опорах, чтобы не проникли грызуны.

– Ой! – испугалась медноглазая Ханет, мать Боляка, когда он подошёл и дёрнул её за подол.

Мать хлопотала возле летнего чувала и варила, судя по запаху, ячменный талкан – любимое блюдо мальчишки. Ханет по привычке решила подёргать Боляка за щеки, и уже начала приседать, но тут же вскочила и захохотала. Она вообще была хохотушка.

– Э-э, нет уж, Боляк, – смеялась она. – Теперь тебя по щёчке трепать нельзя! Ай, какой ты большой вырос, ты теперь не мальчик, не пэхи. Ты теперь пэви! Парень!

– Я еду на Гляден, энке Ханет, – важно заявил Боляк.

– На Гляден?! – всплеснула руками мать и заулыбалась, обнажив ряд ровных белых зубов, отчего кожа на её широком, красивом лице натянулась, выпятив наливные яблоки щёк. – И с кем же ты туда едешь?

– С Русаем, – так же важно ответил мальчик.

– Ой! – спохватилась смешливая Ханет. – Где же мой гребень, я же простоволосая! Сейчас сюда придёт муж мой Русай, не должен видеть муж жены с расплетёнными волосами! Эй, Боляк, хватай-ка ложку и мешай талкан, а я пока приберу волосы.

Ханет взялась заплетать косы, а Боляк, делать нечего, стал мешать в котле варево. Конечно, теперь ему, взрослому мужчине, не подобало заниматься кухонными делами – это был удел женщин и детей, но как он мог отказать своей прекрасной и весёлой энке? Тем более что и сам Русай, когда у него было хорошее настроение, всегда помогал Ханет на кухне, пускай она над ним и подшучивала.

– Ой, ими-Ханет, околдовала ты меня. Иначе как понять, что я, мужчина, занимаюсь стряпнёй, тем более? Может, ты кикимора? – спрашивал Русай, вымешивая тесто.

– Может, и кикимора, может, и люлькулнэ, – соглашалась Ханет. – Навела на тебя морок, а на самом деле я старая, кожа моя, что кора, а волосы, что водоросли. Что хочу, то с тобой и ворочу. Куда хочешь уведу.

– Уведи меня в таскак, – соглашался Русай, – там нарты составленные, на них шкуры лежат звериные, уй, мягкие, тем более!

И они начинали хохотать и шлёпать друг друга по плечам, по спине и ниже спины. Боляк мешал варево и, улыбаясь, вспоминал эти шутки родителей.

А мать, расчесав волосы, вплетя в них ленты с нашитыми серебряными бляшками, вдруг сказала:

– Эй, Боляк-человек, больше не дёргай меня за подол!

– Почему, энке?

– Так делают только дети и ики-проказники, когда хотят показать девушке, что не прочь жениться. – И Ханет опять захохотала.

За трепещущим на ветру бельём показалась тень, а затем появился Русай. Он подмигнул Боляку и приложил палец к губам. Затем подкрался к Ханет, дёрнул её за подол, ткнул фигушкой между лопаток и, не успевшую даже взвизгнуть, схватил на руки.

– Ой, тяжёлая какая стала! – кряхтел Русай, крепко прижимая Ханет к груди. – Эй, Боляк, сходи-ка в лодку, найди некоторый мешок, самый тяжёлый. В нём ясак для кунгурского сеуна да баклага мёда для Карьи. Отнеси этот мешок в хотэ пама. А потом созови сестёр есть талкан...

Мешок был таким тяжёлым, что Боляк едва не уронил его, пока одолевал обрывистую, с осыпью тропинку кручи от берега к павылю. Благо хотэ Карьи был неподалёку.

Он выделялся среди других строений необычным видом. Стоял он на взгорке и был вдвое больше и выше, чем любой другой дом. Его слюдяные окна слепо пялились на все стороны избы, а не как у других остяков – на одну. Кровлю на два ската покрывала не кора, а дёрн, отчего казалось, что прямо над домом распустилась травой лужайка.

Такие кровли, хотя и считались самыми тёплыми, были очень дорогими, ведь под них требовалось прочное основание. И вправду, подкровельные матицы хотэ были мощны, а концы их украшены искусно вырезанными утиными головами. По стенам избы, везде, где только можно, висели олени и лосиные рога, а вокруг, вместо изгороди, громоздились шесты со щучьими черепами.

Карью-пама Боляк, на свою беду, застал дома. Он-то рассчитывал сунуть старухе Карьи мешок с ясаком и тотчас убежать, но не тут-то было. Пам сидел на скамье из расколотой плахи под невиданного размера разлапистыми лосиными рогами, размахом от стены до стены.

Таких лосей Боляк не встречал. У тех зверей, что добывали охотники их павыля, самые большие рога были втрое меньше. Мальчишка подумал: «Какие же тогда рога у Йынгтарумойка – небесного старика-лося? Может, это одни из них?»

Говорят же, когда Йынгтарумойк сходит на землю, он обращается в Янгья – тоже божественного лося, но такого, чью красоту и размер человек может в себя вместить и представить. А ну как это сброшенные рога Янгья?

С рогов свисали узкие сушёными грибами нити. От них по всему хотэ шёл тяжёлый, густой, обволакивающий дух. Нитей было столько, что казалось, идёт грибной дождь. Его струи текли по плечам шамана и сливались с космами, отчего казалось, будто плечи пама, его грудь, шея, живот и были дождём. А дождь был стариком. Наверное, так и было, ведь старый Карья мог жить в двух мирах сразу, на то он и пам!

Но дождь дождём, а ноги шаман свернул по-татарски. Да и лицо его растесывали столь же глубокие морщины, как и трещины на разошедшейся плахе скамьи. Отчего верилось, что время всё же властно над ним.

Седые волосы старика ниспадали прядями едва не до пояса. На лбу их перехватывала расшитая, хотя уже изрядно полинялая лента. От неё, вдоль ушей с вытянутыми едва не на палец мочками, спускались два шнурка. Они подвязывали небольшой мешочек из рыбьей кожи, в котором лежал жидкий клоч длинной и седой бороды.

Глаза старика были затянuty тусклыми бельмами, сквозь которые пробивался невероятной силы лазоревый цвет. Карья-пам был страшен, грозен и таинствен. И в то же время он был какой-то свойский. Его нельзя было представить нигде, кроме как здесь.

У ног шамана стояли олени нарты, точнее их остов из корневищ и гибких веток. В руках Карьи был ивовый прут – он занимался плетением ложа ездовой, лёгкой нарты.

Боляк побаивался старого Карью и в то же время его всегда привлекала та загадочность, что окружала мудрого шамана.

Мальчик не успел открыть рта, а Карья, глядя куда-то в непостижимую шаманскую глубину, сказал неожиданно густым, молодым голосом:

– Боляк-человек, сын Русая? Ты принёс ясак для кунгурского сеуна и подношения для меня. Большой ясак и большое подношение? Отвечай!

– Ай, большое, – подтвердил оробевший мальчишка.

– Ты всё донёс, ничего не растерял?

– Хох, не растерял вроде, – подтвердил Боляк.

– Хорошо, поставь по правую руку от меня. Придёт моя пэрэ-ими – вредная старуха, она знает, что с этим делать.

Боляк сделал, как велено, и хотел уже бежать из душного хотэ на свежий воздух, как старый Карья спросил:

– Едешь на Гляден? Это хорошо, вроде бы. Сейчас узнаем точно. Подойди.

Боляк, неслышно ступая мягкими чуньями по земляному полу, сделал шаг вперёд.

– Ещё подойди! – велел пам.

Он вынул из-за спины большое, круглое, сияющее как луна блюдо. При виде такой диковины Боляк позабыл страх, вытянул шею и подкрался совсем близко.

От увиденного он даже забыл, как дышать, лишь пыхтел, будто варево под крышкой. Боляк было подумал, что сейчас он забудет не только, как дышать, а и как жить, но это показалось ему слишком, и дыхание сразу вернулось.

Но что это было за блюдо! Что за диковина! И что за сказочное нечто на нём было изображено! А уж как красиво и правдиво! Грозный огын²¹ с пышным, как у кунгурского сеуна лицом, с кудрявой, густой, словно баранья шерсть бородой, в рогатой шапке, такой большой, что в ней запуталась ай-новорождённая луна, ехал на спине неведомого зверя.

Голый по пояс, огын был одет лишь в штаны из рыбьей кожи с торчащими из швов иглами окуневых плавников. Он раскинул по сторонам толстые, сильные руки и в каждой держал по короткому и кривому ножу. На один из них был наколот бык с кривыми рогами, а на другом ноже, поддетая за шею, висела куница с длинным хвостом. Величиной она не уступала медведю.

К могучему огыну подлетал, ну будто шмель к цветку, младенец с гусиными крыльями и протягивал что-то наподобие полотенца. По кромке блюда завивалось дерево с короткими ветвями, на чьих концах росла ягода-ежевика размером с людскую голову. А выросло это дерево из хвоста большой рыбы, что, извиваясь, замыкала кромку в круг.

Блюдо так поразило мальчишку, что он остолбенел и стоял с открытым ртом, вновь забыв дышать. В себя его привёл шлепок ивовым прутом.

Карья-пам сидел, скрестив ноги, и тарачил бельма куда-то мимо. Пока Боляк пялился на блюдо, он сдёрнул с лица мешочек, и борода распустилась лисьим хвостом.

С сухим, гороховым треском из мешочка полетели на блюдо речные гальки. Здесь были камушки всяких цветов: голубые, зелёные, красные, белые, бурые, полосатые, в крапинку. Попадались гладкие окатыши и остроугольные осколки, плоские блины, продолговатые тычки и дырявые «куриные боги». Были и такие, что напоминали голову медведя или крыло утки.

Карья, не глядя, прихлопнул камни ладонью и принялся возить ими по блюду, будто хотел растереть в песок. Гальки противно скрежетали, а на блюде, по удивительно податливому железу, прямо поверх красивого узора появлялись уродливые, жирные царапины. Боляку было жаль красоты блюда, но он боялся ещё раз получить вицей²² и стоял, стараясь не шевелиться и даже не моргать.

А шаман завёл заунывную песню. Временами он замолкал, потрясывал блюдом, подбрасывал камешки, вслушивался. Затем начинал скулить снова.

Наконец, Карья услышал, что хотел. Он, не глядя, проворными, паучьими движениями пальцев ощупал блюдо, определил место каждого камешка и собрал их в мешочек. Туда же он упрятал и бороду, а мешок подвязал под подбородок. И вновь замер в позе истукана.

Вскоре Боляк устал стоять не шевелясь. Он почесал ногой о ногу, пошмыгал носом и с опаской стал вертеть головой. Но едва отвернулся, и тут же получил прутком по уху.

– Гляден изменит тебя, пэхи, – разлепил дресвяные²³ губы старик. – Не каждого он меняет, но твою жизнь перевернёт. Хорошо это, плохо ли – ня знай! Будь готов ко всему и ничего не бойся. Побывать на Глядене – большое доверие, оправдай его! И тогда Гляден поможет, даже сам того не желая.

Боляк молчал. И хотел одного – убежать.

– Если Кочebaхта не убьёт вас раньше, – расхохотался шаман.

Он смеялся так долго, что Боляк уже не понимал, чего он боится больше: страшной вести про неведомого Кочebaхту, самого этого лиходея или долгого злого хохота.

²¹ Огын – богатырь.

²² Вица – просторечное словечко из местного обихода, то же самое, что тонкий гибкий прут, обычно берёзовый или ивовый.

²³ Дресвяный, дресва – это мелкий щебень, или небольшие каменные чешуйки. Здесь имеется в виду, что у Карьи твёрдые, чешущиеся, обмётанные губы.

Но вот пам заперхался, закашлялся и пошёл икать.

– Пи-и-ить, – сипло выдавил он.

Боляк кинулся к кадучке с овсяным квасом-ирышем и поднёс к синеющим губам трясущегося пама ковш.

– А, нать-то, Кочебахта не убьёт вас! – напившись и продышавшись, заявил Карья как ни в чём не бывало. – Но коли я чуть не задохнулся, опасайся человека, дышащего в обратную сторону.

Пам опять бросил на блюдо камни, вынул из-за спины нож и, не глядя, дважды ткнул им в блюдо. Оба раза нож попал в гальки, и они со щелчком вылетели из-под лезвия.

– Собирай гальки-то, собирай! – махнул рукой шаман.

– Эти? – не понял Боляк, оглядываясь по сторонам. На метённом земляном полу не видно было тёмных камешков.

– Всякие! Все собирай! – отмахнулся шаман. – Теперь беги, отец уже ищет тебя. И опасайся хидя – человека, дышащего наоборот!

Глава 3

Тайся и Весняна

И снова бежала речка, и бежали по ней судёнышки – впереди челнок Боляка, позади лодка Русая. Ирень по-прежнему оборачивалась, будто нить вокруг клубка, косыми извивами, подставляя справа и слева то крутой берег, то отлогий. Словно хотела обмотать клубок в красивый, округлый шар.

И вдруг перед входом в очередной поворот Боляк увидел на крутом берегу человека в цветной рубахе, войлочной безрукавке и смешной круглой шапочке, какие носят татары. Человек махал руками, кричал и порывался сбежать к воде, но высокая круча не давала этого сделать. А человек надрывал голос, прыгал, падал на колени, срывал шапку и бил ей себя по бритой голове.

При виде этого странного человека Боляк замедлил ход. Удерживая пыж на одном месте, часто перебирая веслом, он не заметил, как сзади в него едва не врезался Русай. Боляк едва успел отгрести на пяток локтей.

А Русай напрягся – шест-хутап в его руках выгнулся дугой, отчего казалось, что сейчас он лопнет и лодка стремглав бросится вперёд, круша челнок и выбросив ездока на стремнину. Но шест выдержал. На лбу Русая проступили белёсые, крупные капли пота, вздулись по вискам тёмные, упругие вены. Он показал Боляку править на отлогий берег.

– Эй, Афыл, ты ли это? – крикнул Русай через реку.

– Ай, Русай-востя, ай, мой добрый друг, это я, Афыл! Хвала Всевышнему, что послал мне тебя!

– Что случилось?

– Беда случилась, Русай-востя, не плыви в Тор, не надо, прорвало плотину на моей мельнице.

– Ох, ты! И давно?

– Недавно! Такой поток хлещет в Ирень, просто гибель!

– Слава богам, что послали нам тебя, друг Афыл, – прижал руку к сердцу Русай. – Говори, чем помочь?

Вскоре Русай перевёз на правый берег Афыла. Этот коренастый, невысокий человек с бритой досиня головой, кареглазый, безбородый, со щёткой усов под тонким носом дрожал, хотя было сухо и тепло.

Придя в себя, Афыл поведал, в чём дело. В полдень прорвало плотину мельницы, будто кто-то сделал подкоп. И вдобавок выломал пару брёвен из заплота.

Прорыв сперва был небольшим, и его хотели быстро заделать, свалив с заготовленных на такой случай рядом с плотинной саней специальные земляные кучи. Но невиданное дело – оглобли лопнули, будто ночью их подпилит шайтан.

Пока меняли оглобли, пока впрягали лошадь, пока тащили возы на плотину, её подмыло основательно. И в последнюю ходку она обвалилась совсем, увлекши за собой и лошадь, и воз, и помогавшего Афылу молодого парня Мичку.

– Мичка совсем погиб, – растерянно сказал Афыл и зарыдал, размазывая по грязному лицу слёзы.

А с пригорка уже был виден бурный поток, уходящий из пруда в Ирень. В зелёной глубине реки теперь не просто бурлили водовороты – там кипели настоящие волны. Они неслись яростным валом, хлестали пенными хлопьями, вмиг достигали правого берега, били в него и нехотя растекались в стороны, будто края у чашки.

И страшным гнётом продавливали речную воду почти до дна, образуя огромную воронку. Она, не в пример пасти двоедонного змея Эри, могла поглотить не только человека, лошадь

или корову, а и целый дом с пристройками. Впрочем, эту воронку тотчас сминал новый вал воды из пруда и бил, бил в берег.

И берег не выдерживал. Одна за другой, волны подмывали берег, пока он не обрушивался всей толщей: с камнями, валунами, дёрном, кустами ив, редкими деревцами. Они, охнув, со стоном осаживались в воду, будто старуха в кадку для купания, и их тотчас сносило в новый разверзшийся, как огромная пасть сома, водоворот. А его уже утюжила другая волна, и всё, что попадало под неё, исчезало в гибельной стихии.

Зрелище завораживало, удары волн околдовывали, как бой шаманского бубна, а их бег расходиллся шелестом бляшек в косицах пама. И смотреть на это можно было вечно.

Но Афыл не дал. Причитая в голос, он молил путников спасти детей. Как понял Боляк из его сбивчивого рассказа, дети Афыла – сын и дочь – с утра перешли по плотине на другую сторону Турки, как остяки называли татарскую реку Тор. Там, за обширными пастбищами, по косогорам ковром росла клубника-полуніца.

И теперь они не могли вернуться назад. И хотя детям ничего не угрожало, переубедить Афыла, разом потерявшего дело всей жизни, было невозможно.

Русай бы и рад был помочь, но не мог взять в толк как.

– Нужно перетащить лодку берегом ниже прорыва, спустить её на воду и переплыть Ирень как раз возле ягодных косогоров, – сбивчиво объяснил Афыл.

И вскоре остяк и татарин, вздев на плечи пустую лодку, ушли вниз по берегу. Боляку же наказали найти место повыше и глядеть вверх по течению: вдруг кто приплывёт. Тогда мальчишке следовало привлечь внимание путников и отговорить их от затеи плыть дальше, покамест из пруда не сойдёт вода.

Но вскоре у Боляка появились неожиданные напарники. Сперва на лугу замелькали цветастые пятна, а следом чьи-то головы поскакали над высокой травой, как надутые из бычьего пузыря мячи. Та голова, что повыше, чернела волосами, а та, что пониже, синела бритой макушкой.

– Ты Боляк? – спросила девчонка, низенькая, худенькая, угловатая, нескладная. Глаза её были смешливы и черны как уголь, а волосы заплетены в косы. Но не те две крупных косы, что заплетала мать Боляка и вообще все женщины в павыле, а множество мелких, будто стекающие с обрыва дождевые струйки, косичек. На девчужке было цветастое платье и расшитые узорами войлочные чуни на кожаной подошве.

– Я Тайся, – заявила девочка. – А это мой брат Хаяз, – кивнула она на бритоголового босоногого мальчишку. Хаяз, и без того щекастый и весь какой-то основательный, услышав своё имя, раздулся от важности.

Боляк сопел, не зная, что сказать. Им вдруг овладело неловкое чувство – будто всё неуместно: и девчонка эта, и тем более малыш. Всё шло хорошо, был он сам по себе и занимался важным делом. И никто ему не был нужен. Да и сейчас не нужен.

– Чего пришли? – буркнул Боляк.

– А то, – выпятила губу девчонка. – Что твой отец с моим отцом за нами приплыли. Вот!

Боляк смутился и не знал, что сказать. Ему не удавалось соединить вопрос с ответом, и это злило. Выходило так, что раз он не может ничего ответить ей, значит, она права. Но в чём?

Благо, Тайся избавила его от раздумий:

– Велено мне и тебе тоже, – заявила она, – брать челнок и нести ниже прорыва. И перевозить через Тор людей, оставшихся на сенокосе. Мельницу спасти ай как надо! Людей нужно много. А лодка всего одна.

Боляк понял задачу, но не хотел мириться с тем, что её сообщила девчонка.

– Я дозорить здесь поставлен.

– Хаяз вместо тебя дозорить будет.

Хаяз, услышав своё имя, важно подбоченился.

– Нести челнок? С тобой? Ты же девочка! – хорохорился Боляк.

Но проворная Тайся прямо в нарядных чунях, обмочив подол цветастого платья, уже шлёпала вокруг челнока по воде. Она кряхтела и шипела, силясь вытолкнуть пыж на берег.

Боляк вздохнул, дескать, кто же так вытаскивает лодку, и потянул пыж на себя. Тайся, оперевшись ногами в мелководье, а руками в кокору, едва не свалилась пластом в воду. Боляк было захохотал, но осёкся, боясь, что девочка обидится. Но та рассмеялась сама, растянув до ушей улыбку и обнажив ровный ряд белых зубов.

Сверху донеслось пыхтение, будто хлюпал талкан под крышкой котла. Это хохотал величавый Хаяз. Но едва завидев, что на него смотрят, надул щёки.

Идя впереди и постоянно приподымая руки, чтобы из-под перевёрнутого челна хоть на несколько шагов разглядеть тропинку, Боляк думал, что без девчонки ему, пожалуй, пришлось бы туговато. А Тайся шлёпала позади, и тараторила, и цепляла Боляка по разным поводам.

«И откуда сила в этой тощей козе?» – дивился Боляк. Сам он тащил чёлн из последних сил, стараясь не сронить с плеча перекинутое за бечёвку справа налево весло.

А Тайся замечала и как он ступает, и как горбится, и где на тропинке ямка или камень. И даже, что кора на челноке местами стала намокать и расслаиваться.

Благо вскоре они пришли.

И долго ещё, снуя через Турку выше пруда, перевозили Боляк с отцом людей. Все мужчины уже были кто на засыпке плотины, кто на починке мельницы. Одни колотили клетки, другие спихивали их в проран²⁴, иные копали и ссыпали в корзины землю, прочие свозили и сваливали её в зевиде развороченной насыпи.

А Русай с Боляком всё возили и возили баб и детишек. Из них кто был напуган, кто подавлен, а кто, наоборот, возбуждён до крайности. Но два этих чужих остяцких мужчины, большой и маленький, были спокойны и со всеми добры. И видом, и трудом они внушали уверенность и как бы обещали, что всё будет хорошо, всё наладится.

А потом пришла весть – нашли Мичку, того самого подмельника, что смыло первым потоком. Мичка был жив, хотя и без памяти. Его, не иначе как чудом, вынесло из страшных бурунов и прибило к плёсу ниже пастбищ. И всем стало радостно.

Пруд к тому времени сошёл в реку, укрылся за рекой и день. Половину запруды и часть мельничного хозяйства, отдав все силы, удалось отстоять. И все ликовали. И даже круглый, важный, как божок, Хаяз, ещё более раздувшийся от самодовольства после первого в жизни важного дела, смеялся, будто это пыхтел котелок.

Русая с Боляком разместили в избе Афыла. Сну предшествовали долгие разговоры за чаепитием. Этот дымчатый, горьковатый напиток, обжигающий губы, Боляк пробовал впервые. А перед чаем была разварная баранина, пироги, лепёшки и ещё куча угощений, которые Боляк уже не в силах был попробовать. Афыл, как бы ни был он подавлен утратой мельницы, спешил выказать гостям поистине татарское гостеприимство, хлебосольство и любезность.

Разговоры велись обо всём, и добрую их долю Боляк не понимал. Но не один и не два раза упоминался и ночной гость пасеки Щелкана – Чубар. Оказалось, заезжал он и к Афылу и тоже просил уступить землю. Но Афыл, как и Русай, не мог взять в толк, зачем она Чубару.

А тот знай бранился, дескать, зачем Афыл поставил мельницу на Торе да задумал ладить ещё одну. Ведь если будет мельница, появятся и пахари. И только вспоминал Афыл порушенную мельницу, как тотчас мрачнел и едва не пускался в слёзы.

И все брались утешать его, и Русай обещал на обратном пути с Глядена заехать и помочь ставить новую. И мельник успокаивался, и улыбался, и подливал чаю, и не уставал нахваливать гостей. Особенно Боляка.

²⁴ Проран – большое отверстие, выломанный кусок плотины.

Боляк у него выходил первейшим удальцом и спасителем, и мальчишка, хоть и мертвецки устал, уже и сам считал себя таковым.

А расчувствовавшийся Афыл продолжал славословить. И вскоре дошло до того, что пообещал, когда выйдет срок, отдать Тайсю замуж за Боляка.

– Ай, как хорошо! – хлопал по коленям Русай.

А Боляк не знал, куда деться от стыда.

Вертлявая Тайся... Несмотря на косички, платья, бездонные, как пропасть, чёрные глаза, высокие скулы и жемчужные зубы, разве она могла быть чьей-то женой? Тем более женой его, Боляка.

Она же просто вредная язва! На таких не женятся. Женятся на таких, как Весняна: со степенной походкой, с плавными движениями, томным взором и основательной, жизненной хватистостью до всякого дела, до любого труда. Вот какая ему нужна жена!

Но сказать этого Боляк не мог, да и не умел он пока выразить такое словами. А сказать, однако, что-то было нужно. Ведь не зря хозяева окружили их таким почётом и такой заботой – за это нужно быть благодарным, так чувствовал Боляк. Всё же он не ребёнок, не Хаяз какой-нибудь. Он, Боляк, уже сколько-то пожил, и слава о его делах докатилась и до Турки.

Но как Боляк ни силился, сказать у него не получалось. Да ещё удружила Тайся... Выглянув с полатей, она фыркнула:

– Фуй, жених! У этого жениха из хозяйства один челнок, и тот в щелях!

Боляк вспыхнул, как лист рябины в бобровый гон.

Мужчины тотчас перевели разговор на то, что лучший дегтярь в округе – это Колмак из Веслянки и что с утра челнок надо бы подконопатить, чтобы доплыть до Колмака.

Боляку было обидно, горло раздирал холодный, твёрдый, как речной окатыш, тяжёлый ком. Ему хотелось сказать, что его челнок – самый лучший, самый быстрый челнок в мире. И что он добежит на нём до самого Глядена без конопаченья и дёгтя. И что это не всё его хозяйство! Что дайте сроку, у него будет такое обзаведение – весь мир будет его, за ним и под ним.

Но вместо этого из горла вышли совсем другие слова:

– Под навес спать пойду, – буркнул Боляк, схватил циновку и выбежал из избы.

Он долго не мог заснуть. Обида мелкой дрожью колотила по спине, то заставляя ворочаться с боку на бок, то ввергая во что-то наподобие забытья. Напахнуло прохладой, но Боляк привык к ночёвкам на воздухе. А мысли путались, раздирались на слова и образы, разлетались, угасали.

Внезапно стало тепло. Боляк ощутил, как его накрыло тяжестью одеяла. Он привстал. Только чёрная ночь была вокруг, и чьи-то лёгкие шаги отдалялись от навеса.

* * *

Или Ирень стала шире, или Боляк втянулся в плаванье, но только повороты теперь казались не такими опасными. Да их будто и поубавилось. Теперь чаще шли ровные, прямые участки реки. По крутым берегам стеной стоял еловый лес, мох свисал с ветвей нитяными бородами и падал прямо в воду. И казалось – всё кругом добрая сказка.

Русай поднял Боляка рано. Стоял туман, и одеяло набухло и отсырело. А Русай был бодр и свеж, от него вкусно пахло избой, кислым молоком и свежей стряпнёй. В руках он держал узелок с едой, и оттуда тянуло таким вкусным духом, что у Боляка потекли слюнки. Этот узел Русай определил в челнок, и Боляк теперь втихомолку отщипывал от края большой лепёшки, торчащей из тряпицы. Делать это приходилось между гребков, а грести, хотя поворотов и стало меньше, приходилось чаще.

Русай что есть сил упирался шестом и поторапливал Боляка. Он во что бы то ни стало спешил попасть спозаранку к веслянскому дегтярю Колмаку, раздобыть у него дёгтя и починить челнок. Теперь Боляк видел, что Тайся права и пыж вправду высыхает. Славно потрудился Боляк на перевозке через Турку баб и детишек, а судно – тем более.

Обогнув высокую гриву, река опять вытянулась в тугую тетиву. Справа берег начинался не полого, не обрывисто, а начинал забирать вверх длинным косогором. Он выныривал подножием из ключев расхोдившегося, разлетавшегося, будто семечки одуванчика, тумана, а вершина его исчезала в густом, кисельном облаке.

– Вот это косогор, вот это круча! Неужели Гляден-гора даже больше этой? – восхитился Боляк.

А Русай, бежавший сбоку, приставил ладони ко рту и закричал:

– Коку-у-уй, э-эй!

– У-у-й. Ый-ый, – отозвалось эхо где-то в вышине.

А с берега, из ивового куста раздался недовольный голос:

– Че орёт?! Плыёт, орёт, рыбу пугат? Эй, кто там кричит? Кричит, на шишу торчит!

– Кокуй, ты? – расплылся Русай в улыбке.

– Я – Курила, а Кокуй дрыхнет. А ты никак Русайка? Дать бы тебе башка веслом, Русайка – балды-балдайка, за то, что рыбу пугаешь, да больно у тебя мёд вкусный. Пристанешь, нито, бражки хлебнёшь из моих овсов?

– Не могу, Курила, спешу к Колмаку, еду на Гляден с сыном, тем более. Поздороваться хотел просто, – отвечал Русай, уже оборачиваясь назад.

– Ну здравствуй, и бог помочь тогда, – отозвался куст.

– И ты будь здоров! На обратном пути навещу... – крикнул Русай уже в повороте.

– Эх, не вино меня сгубило, а будь здоров, да будь здоров! – проворчал куст.

– Кокуй и Курила – обалдуй и чудила, – улыбался Русай. – Дружки мои. Пять нас в детстве дружков было: я – остяк, Афылка – татарин, Кокуй – пермяк наполовину, Курила – русский и...

За поворотом показалась деревня.

– Веслянка. А ну, наляжем! – взялся за шест Русай.

Пока нашли Колмака, пока объяснили насчёт дёгтя, пока, по обычаю, Русай рассказал все новости, включая давешнее происшествие, туман совсем разошёлся.

Колмак оказался тем самым мужиком, отцом Весняны, что приезжал каждое лето на покосы, и Боляк обрадовался, что увидит подружку. Он хотел было спросить про Весняну, но разговор взрослых шёл ровно, без заминки, и встрять в него, не перебивая, Боляку не удавалось. Приходилось молчать и с почтением слушать старших.

– Вот беда, только вчера я весь дёготь свёз в Кунгур, – дослушав новости, хлопнул по коленям Колмак. – В кожевнном деле дёготь важнеющая вещь! А ещё скоро пойдут с Соли Камской на Русь соляные бархоты-засыпухи, им тоже дёгтя много требуется. Вот я и свёз все запасы в Кунгур наезжому с Камы человеку. Он и цену мне хорошую дал. Ох, какая у него бобровая шапка!

– Бобр есть, Колмак, хорошая шкурка, – только и цокнул в ответ Русай.

Дегтярь стал заводить топку. В земляную яму он поставил горшок, на него решето, а в решето накидал бересты, пласты которой сушились у него под навесом. Решето он накрыл кованым железным листом и присыпал землёй.

Человеку со стороны, рассеянному, невнимательному могло показаться, что здесь ничего не затевается, что это просто двор – в щепках, мусоре, старых головешках, золе. Сверху листа Русай с Боляком споро натаскали дров, и Колмак запалил большой жаркий костёр.

– Нашего участия более не требуется, – усмехнулся Колмак в пышные усы. – Пойдёмте в избу, попьём кваску...

Для виду покрутившись возле взрослых, Боляк ускользнул на улицу. Он шёл по деревне, изредка отмахиваясь от лениво брешущих собак, но нигде не встречал Весняны, а спросить стеснялся.

Расстроившись, он вернулся к лодкам и взялся пускать по воде блинчики. Но и это ему наскучило, и он решил поглядеть, вдруг дёготь уже вытопился.

Дрова прогорели едва наполовину.

– Эй, дрова, я вас пошевелю, чтобы горели пуще! – сказал Боляк.

И слышал сзади тихий смех. Обернувшись, он чуть не столкнулся лбом с Весняной. Видать, она кралась, чтобы напугать Боляка, да не сдержалась.

Вот это была девица! Не вертлявая, вредная девчонка, как Тайся, а именно что девица. Эви!

Похоже, Весняна возвращалась с поскотины, ибо была боса, простоволоса, а в руках держала вицу. Должно быть, по пути сюда она устроила этой вицей войну крапиве и обожглась в нескольких местах, отчего её белая кожа пошла красными брызгами. Но Боляк этого не замечал.

Он всю глазел на Весняну, с их прежней встречи ставшую ещё краше. Весняна будто налилась тугими соками, как спелая земляника на солнечной лесной опушке. И щёки её, и плечи, и бёдра округлились, и вся она под холщовой свободного кроя подсарафанной рубашкой, где надо, обозначалась выпуклостями и впадинами. И была плавная и величавая – ни дать ни взять маленькая русская женщина.

И её белый широкий лоб, и взвитые соболиной дугой брови, и широко расставленные голубые глаза, и чуть вздёрнутый носик, и пухлые малиновые губы показались Боляку ярче самой немислимой и мыслимой красоты.

Ещё недавно – не прошло и полутора лун – Боляк с Весняной бегали меж ульев и устраивали Щелкану пакости. А теперь он заробел. Весняна преобразилась враз и вся, как это происходит лишь с девочками: вечером была нэви – ребёнок, а с утра уже эви – девица.

Заробела, отсмеявшись, и Весняна. И выронив вицу, стремглав кинулась в дом.

* * *

Пошла по берегу гарь, а затем остяки миновали большое русское село Степаново, что разошлось, казалось, от начала земли и до конца.

Боляк почувал село раньше, чем увидел. Тянулась выжженная земля, и её запах так плотно вьелся в ноздри, что, когда сквозь него пробился душок сухой травы – такой знакомый по щёлкановским покосам, – Боляк оробел. Ему показалось, будто он спит в старой колоде, в щелястом таскаке на пасеке, и вот-вот проснётся. И река, и путешествие, и Гляден – всё обернётся сном. Но следом мальчишку настиг пряный, густой запах парного молока. Удивительно, как он напоминал Весняну: такой же свежий, но и такой же явный, густой, жизнетворный.

– Эй, сон, не уходи... – хотел попросить Боляк, но в чувство его привело журчание.

Журчала под дном пыжа иренская вода; журчало, ударяясь о дно деревянного спудного ведра, молоко – бабы на берегу доили коров.

Расходился день, расплывались запахи, раскидалось по иренскому берегу село Степаново. И если бы не обугленная с одного бока церковь – этот странный дом русского бога, что ставят лёсо прежде всех дел в любом месте, – можно было подумать, будто все эти избы, изгороди, сараи, амбары, коновязи, лодки, мостки, наваленный лес, вся утварь стащена сюда кем-то большим и жадным, как дань, как добыча.

А с колокольни разнёсся звон – да такой красивый, будто разом загудела тьмущая тьма шмелей на медоносном травостое. Затем послышалось пение. Оно шло, будто из земли, и возносилось к небесам.

– Заутря, – улыбнулся Русай. – Собрались всем селом в церкви.

Боляк не понял, что это означает, а думать, догадывать – времени не было. Пока река оставалась спокойной, а повороты плавными, он пытался осмыслить, что произошло в Веснянке.

Насмоленный дёгтем и ещё не до конца просохший челнок оплывал в воду, оставляя за собой причудливые разноцветные масляные пятна. Смотреть на них можно было бесконечно. В этих радужных, перетекающих, неуловимых разводах Боляку виделась Весняна. Не её облик, а сама её ускользающая суть – светящаяся, наплывающая, будто сияние, красота.

И мысли Боляка мелькали, как эти наплывы, а сердце пылало, будто солома под полуденным солнцем. И не хотелось его унимать, незачем было шептать: «Эй, сердце! Не пылай так!..»

Поначалу Боляк не понял, почему Весняна убежала в дом, чего застеснялась. Собственную робость он счёл за неожиданность. С чего бы ему робеть!

Но вскоре Весняна вышла на крыльцо, и тут уж Боляк оторопел всерьёз. Всего-то миг прошёл, а Весняна преобразилась ещё пуше. Поверх рубахи она надела расшитый сарафан, волосы прибрала и подхватила лентами – да не одной, а множеством! Все они слепили глаза пестротой, будто это была не голова Весняны, а марийское священное дерево. Ножки девушка обула в чистые лапоточки, а в их косые, на пермяцкий обычай, мыски вплела цветы.

И теперь предстала Весняна вся – красивая, цветущая, налитая соками, полнокровная. В руках она держала глиняную крынку.

– Иди, что ли, на руки тебе полью, изгваздался в дёгте-то, – поманила она Боляка.

А тот остолбенел и не мог не то что шагнуть, а даже рот закрыть.

Дальше всё было как в тумане. Даже теперь, когда Степаново осталось позади, а справа в Ирень влилась Кунгур-река (возле которой на старом кунгурском посаде тоже выросло большое село), этот туман не рассеялся в голове Боляка.

Будто морок, будто колдовство ошпарило ему сердце, и пар этот разливался теперь по всему телу. Боляк и боялся этого пара, но и не хотел, чтобы тот исчезал.

– Эй, душа, это ты, что ли? – спросил он.

И впервые – сильнее, чем желание попасть на Гляден, – ему захотелось вернуться назад. Тем более что возвращаться было зачем.

– Что ты мне привезёшь, какой подарок? – лукаво спросила Весняна, узнав, что Боляк едет на Гляден. – Слыхала я, диковин там много.

– Ой, какой я привезу тебе подарок, Весняна! Тебе одной, единственной! – только и воскликнул Боляк. – Жди меня с таким подарком!

И ничего больше не помнил Боляк. Только из пара, что окутывал его душу, выныривал задорный смех девушки – и становилось мальчишке и радостно, и тоскливо.

После впадения Кунгурки Ирень разлилась ещё шире. Теперь приходилось вглядываться в оба берега, чтобы разглядеть, что творится по сторонам. Пошли плёсы да разливы, заросшие травой мелководья.

Вспархивали из зарослей стрелолиста утки с подросшими утятами, садились среди кувшинок гуси. Низко над водой, изогнув шеи, грузно летали потревоженные цапли. А тонконогий, но могучий лось величаво переходил вброд, едва касаясь брюхом воды.

По стрежню пошло много леса. Плыли вывороченные с корнем вековые стволы – знать, прошла где-то в верховьях Кунгур-реки буря; плыли и сбитые в плотники брёвна. На одних сплавляли сено, на других – дрова и корзины со щепой, а на каких и шумный, гомонливый скот.

Глава 4

Зловещий зрачок Иткаськи

Река стала шире, но опасностей лишь прибавилось. Приходилось оплывать деревья, уврачиваться от заломов, уходить со стремнины то под один, то под другой берег.

Но и там, в казалось бы спасительной стоячей заглуби, тоже таились опасности. Торчали коряги, чьи острые сучки грозили распороть берестяную обшивку челнока; взбрыкивали жёлто-зелёные, как налимьи губы, водовороты. Бывало, слетал с прибрежной скалы камень или осаживалась в воду целиком кромка подмытого берега.

Боляку приходилось не только беречься от опасностей, но и извещать отца, особенно о корягах и брёвнах. Лёгкая забава сплава на челноке превратилась в тяжёлый труд, где требовались и сноровка, и внимание.

А ещё, бывало, ухали со дна топляки – давно затонувшие брёвна. Какая-то сила поднимала их с замутнённого, занесённого илом лежбища, и они выскакивали из воды стоймя, грозя погубить и лодку, и её кормчего. И о топляках тоже нужно было вовремя сообщить Русаю.

Он всё так же шёл на шесте, и, оказавшись над заглубью, над бездонным омутом, вполне мог не успеть отвернуть. Потому приходилось быть настороже и кричать, не жалея горла:

– Эй, Русай-этэ, здесь коряга! Топляк, берегись! Дерево плывёт, вразгород, уй, большое!

Дело это увлекло Боляка, и он позабыл про Весняну. И снова исполнился важности и степенности – шутка ли, прокладывать путь. Кто здесь главный? Кто впереди, тот и главный!

А Русай, улыбаясь уголками рта, ещё добавил:

– Эй, Боляк, – крикнул он. – Гляди шибче, не сидит ли в воде Иткаська!

– Иткаська? – развернул чёлн Боляк. – Кто это, Иткаська?

– Некоторый злой дух, водяная женщина. Как кикимора, только на берег совсем не выходит. Людей на дно затягивает, на корм рыбам.

– А как она выглядит? – спросил враз оробевший Боляк.

– Ня знай! Всяко. Кто говорит, как большой налим, только глаз жёлтый, другие уверяют, что она как человек, но с рыбеёй и волосатой головой. Опасная она, Иткаська!

Боляк стал править осторожнее и зорче всматриваться в воду.

– Большой у неё глаз? – уточнил он у Русая.

– Хаяза видел? Голову его видел? Вот такой же, – понизил голос отец, будто их могли услышать. – Увидишь его если, сразу плюй туда. Кто плюнуть не успеет, враз утопленником станет, тем более.

И Боляку стало вовсе не до досужих разговоров. Не забывая оплывать брёвна и топляки, выбирать на стремнину для прохождения поворота, предупреждать отца о корягах и сучьях, Боляк теперь зорче всматривался в дно.

Расскажи ему кто про Иткаську в павыле, на берегу, допустим, ребятишки, – он, быть может, и не испугался. Дескать, и что с того? Он на земле, Иткаська в воде, где-то в непонятной глубине – что она ему может сделать?

Ведь даже болотное существо кикимора, выйдя на берег, вмиг теряет половину чар. Девчонку она ещё может увлечь в свои пагубные топи – приманить искристо-медными волосами, поблазнить гребнем, оплести невидимой нитью – сытлылып, и утянуть на дно. А парню главное – не сробеть, бросить в кикимору сосновой корой да успеть помочиться вокруг себя сплошным кругом. И от этих брызг тотчас рвётся и сытлылып, и истаивает, исчезает кикимора.

А Иткаська, говорил этэ, вообще не выходит на берег. Но это берег, а они сейчас на воде, и где-то под ними, в прохладной глубине, может быть, уже затаилось это неведомое чудище. И тарашит жёлтый, выпуклый, склизкий глаз размером с голову татарчонка Хаяза.

А речное дно пробегало под лодкой песчаными косыми извивами, будто распаренное тесто. И если и попадались в нём камни и гальки, то редко. Порой кучами, в навал, лежали полузаметённые песком топляки, образуя причудливые узоры, будто изморозь на забытом зимой на улице топоре. Вблизи поворотов вода мутнела, густея из бледно-зелёной до почти чёрной.

Здесь было много сносимого с берега сора: щепок, травы, лепестков, листьев – и от таких мест Боляк теперь спешил скорее отгрести, но не на стремнину, а туда, где ближе к середине намывалась отмель.

По отмелям тянулись длинными хвостами водоросли. Их бесцветные стебли с частыми блескучими листочками колыхались в проточной воде, будто это переливались спины гигантских рыбозмеев Фенче, один из которых, как говорят, и соблазнил первоженщину Ихьин-ири.

Соблазнив, он бросил её, и она от тоски стала кикиморой. Так что пришлось Таруму заново делать для первого человека женщину. К тому времени Тарум то ли устал, то ли осерчал, в общем, как говорят старики, получилось то, что получилось.

Раздумывая о превратностях, сопровождавших человека, поди ж ты, от самого сотворения мира, Боляк отвлёкся. И тут он её увидел.

Там, где косы водорослей заканчивались лбом мелководья, ближе к левому берегу, началось заглубляться дно. На этом скосе, будто опавшем под тлеющей кожей остовом дохлой коровы, и лежала груда заметённых илом топляков.

И вдруг вся коровья спина пришла в движение, и кожа песка пошла осыпаться по тощим бокам остова, обнажая свалку тяжёлых, набрякших водой и вековой сыростью брёвен. Словно со дна, сбрасывая гнёт его наслоений, поднималось гигантское чудище. Боляк смотрел как замороженный, правя прямо на свалку. И лишь в последний миг отвернул.

Рядом с челноком, пробив толщу воды, вынырнул топляк. И складчатые намывы песка на дне, где топляк только что лежал, сложились в морщинистое, прищуренное веко. Оно осыпалось, смылось, а со дна стали подниматься пузыри. Один из них всплывал медленнее других и был огромный, маслянистый, округлый, как голова Хаяза.

– Уй, Иткаська! – завизжал мальчишка и отчаянно погрёб в сторону.

Он уже давно отплыл от страшного места, а всё махал и махал веслом, не уставая плевать за спину.

Косой дождь охаживал будто веником. Да и дождь ли это был, или шпарила изнутри кровь? Солнце укрылось за тучей, как за занавеской, и не показывало глаз. Да и что был далёкий, солнечный глаз против запредельно жуткого, близкого взгляда до тошноты страшного речного чудища?!

И Боляку захотелось бросить чёлн и перебраться на большую, крепкую, деревянную пермянку отца. Еле ворочая онемевшей шеей, Боляк повернул голову назад. Как бы ни было страшно, но следовало узнать, жив ли отец, в порядке ли он, успел ли от души плюнуть в зловещий глаз Иткаськи.

Русай спокойно вёл лодку, а за его спиной стоймя выскакивали из воды топляки. Будто это кровожадная Иткаська гребла по поверхности растопыренными пальцами, но уже не могла никого заграбастать.

И Боляк раздумал садиться в лодку отца. Это он едет по реке и ведёт челнок, а не река водит им. Страшновато, конечно, ну так что ж, решил Боляк. Должно быть, это поперву. Вон как спокоен Русай!

Было уже давно за полдень, когда путники пристали к мелководью возле двух лежащих на разных берегах плешивых, с седым ковыльным пушком, холмов. Русай назвал их странно и смешно – подтатары. Здесь, в густом полынном предвечерье, путники перекусили остатками снеди из Тора.

Вечер наплывал медленной золотой волной, как мёд из корчаги. Тучи ушли, спрыснутая дождём трава переливалась всеми оттенками зелёного. Будто вся изошла в малахит – красивый камушек, часто попадавшийся Боляку на ветровыворотнях.

Поговаривали, что в таких местах ещё жила чужь и порой выходила из-под земли, разводя в каменных углублениях огоньки маленьких свечей. Когда свечи прогорали, с них стекал не воск и не жир, а медные округлые капли. Нашедшие плющили их в бляшки и дарили сёстрам, жёнам, матерям как украшения. Так их и называли – чудские подарки.

И Боляк вспомнил, что старый Карья-пам дал ему задание – собирать гальки. А вот зачем, Боляк уже легкомысленно позабыл. К тому времени он насытился, хотя поначалу кусок не лез в горло. И, дожёвывая на ходу, мальчишка уже входил, как был, в чунях на мелководе. Вода здесь была ощутимо холоднее, чем в реке. В паре шагов бил ключ, размывая вокруг себя дно, перемешивая песок и искрясь пузырьками. Они напоминали глаз Иткаськи.

Мальчишка ещё раз восхитился бесстрашием отца.

– Эй, этэ, – спросил он, – нать-то сильно ты плюнул в глаз Иткаське?

– Это где?

– Там, после отмели, где топляки всплывали.

– А, это?! – удивился Русай. – Я не понял, что это Иткаська. Думал – Хэймэ. Хэймэ это был, наверное.

– Что ещё за Хэймэ?

– Хэймэ людям помощник, тем более. Где он, там рыба.

– А как же топляки? Они будто рёбра огромного чудища? Ты разве не видел? – округлил глаза Боляк.

– Вот он берёт топляк, Хэймэ, – как ни в чём не бывало продолжил Русай, – со дна поднимает и начинает строгать. Мелкая стружка – пескарь, покрупнее – ёрш, ещё крупнее – окунь. Всякая рыба, что мельче леща, язя, налима или шуки, – это Хэймэ строгают. Кроме щеклеи. Щеклея получается из ивового листа, упавшего в заводь, где помочился купающийся конь. Но и без щеклеи, уй, много-много рыбы строгают Хэймэ, для людей старается!

– Я не видел стружки, – потупился Боляк, – только длинные водоросли, как волосы.

– У него коса до пояса, уй, много в ней волос! Эту косу он моет только в озёрах. В какое озеро косу опустит, в том рыба и разведётся, – пояснил Русай.

Боляку стало стыдно. Эка же он сплеховал! Принял за Иткаську добряка Хэймэ. А вдруг отец увидел его позор? Как же теперь быть?

И, выставив лоб, как молодой бычок, Боляк сказал:

– Я глаз её видел. Большой, как голова Хаяза, жёлтый, маслянистый. Я в него плюнул, и он побежал на дно прятаться.

– Да?! – удивился Русай, прикрывая рот. – Повезло же мне тогда! Нать-то спас ты меня, Боляк-человек, хорошо это. Ай, как хорошо! Помоги-ка столкнуть лодку.

* * *

Теперь Ирень текла ровная, как канава вдоль дома. Повороты были такими плавными, что Боляк их не замечал. Впрочем, и кроме поворотов было на что подивиться.

На реке стало оживлённо и многолюдно. Там и тут виднелись рыбацьи лодки. Одни застыли в ряске, другие плыли, третьи сновали от берега к берегу, растягивая или сматывая перемёты. Да и по буйно заросшим берегам торчали удилища.

Отлогие холмы занимали пастбища и покосы – раздавалось мычание коров, окрики пастухов, звон правимых кос, стройные, распевные голоса косарей.

На широких отмелях кучковались кожевники. Они узнавались издали по стоявшему над водой тяжёлому духу. Кожевники отмачивали, отскабливали от мездры и здесь же, на больших

деревянных оправах, сушили коровьи, свиные и овечьи шкуры. А горы уже выдубленных кож высились на берегу под наспех сооружёнными навесами.

Подъезжали и отъезжали подводы. В одних стояли огромные, долблёные из вековых липовых стволов колоды с рассолом, а в них плавали свежие шкуры. В других высились кучи дубовой щепы.

В воздухе стояла вонь, вода текла мутная, но Боляку было радостно. Не потому, что он знал это ремесло. Тут радоваться нечему – в павыле им владел каждый, выделявая шкуру лесного или домашнего животного.

Но никогда прежде не видел Боляк, чтобы это делали в таких количествах. Здесь было шкур столько, что казалось, ими можно устлать всю Ирень до самой Веслянки, а то и до ставшего вдруг таким далёким родного павыля.

А Боляка радовало то, что Иткаська, какой бы могучей она ни была, ни за что не сможет проплыть сквозь такую душную вонь.

«Мир полон и не таких чудес, видали мы и Иткаську», – хмыкнул мальчишка, пытаясь разглядеть, что там впереди.

А впереди был устроен перевоз. Но не на лодке-пермянке, как у Русая, а на огромном, в полреки, плоскодонном чуде.

– Шитик, – пояснил Русай.

Одних гребцов-шестовиков на шитике было шестеро, по трое с каждой стороны. И они, мощно упираясь шестами, в три толчка пересекали Ирень туда-сюда, подавая судно под погрузку-разгрузку. А у каждого берега гомонила толпа грузчиков, тотчас бравшихся за работу.

Между этими ватагами было соперничество. И как только шитик доставлял от одной ватаги работу для другой, они начинали перебрасываться шутками, прибаутками, порой такого смысла, что даже мало понимавший Боляк заливался краской.

– Эй, правые! – с ленцой несло с левого берега.

– Ась! – откликались оттуда.

– Хрен вам в пасть! – тотчас летело с левого берега, и, ещё не успев перелететь через реку, берег грохотал хохотом.

– Левые?! – раздавалось уже с правого берега.

– А?! – осторожно откликнулся кто-нибудь, боясь попасться на поддёвку.

– Жуйте два! – тотчас доносилось с правого берега, и начинали хохотать уже там.

Но и это огромное кожевенное мельтешение: скопище зольников, мездрильщиков, скобильщиков, ходящих по отмели с придавленными ко дну пластами кож, будто цапли, мяльщиков; взгорки с плечистыми щепорубцами и поляны с багроворукими дубильщиками – осталось позади. Там же остался и тяжкий кожевенный дух. И река понемногу очистилась от мути.

Теперь можно было плыть тише. И вдруг справа на Боляка наплыли такие скалы, что вся река будто скрылась в тёмной, необъятной ночи. Боляк даже зажмурился, а когда открыл глаза, река уже сделала плавный поворот, и скалы теперь сияли ослепительной белизной.

Валяющееся на закат солнце било прямоком в эти огромные, пронзающие небеса камни и отражалось от них, слепило, гуляя по извивам воды, и мельтешило, будто забрус²⁵ в медогонке²⁶.

А скалы сходили в реку гладкой стеной, лишь пушились понизу, у самой воды, бараньими завитками кусты ив.

²⁵ Забрус – продукт пчеловодства, верхний срез медовых сот, покрытый слоем пчелиного воска.

²⁶ Медогонка – примитивный деревянный сепаратор с мускульным вращением. Позволяет разделять твёрдые и жидкие фракции.

Русай что-то кричал сзади, но дул такой ветер, а слова Русая так отскакивали от камней, что Боляк ничего не слышал. Он обернулся. Русай сложил ладони ковшиком и крикнул:

– Кунгур! – и указал наверх.

Боляк задрал голову и чуть не выпал из челнока. Наверху скал высились огромные бревенчатые башни. С воды они показались Боляку даже выше, чем колокольня в Степаново. Эти высокие, пузатые, кряжистые башни грозно нависали над обрывом, будто грозились спихнуть вниз любого, кто посмеет подобраться ближе.

Между ними тянулась высокая бревенчатая стена, такая, что даже мельница Афыла казалась вдвое ниже. Да и брёвна, из которых сложили стену, были втрое, а то и вчетверо толще.

И даже такие огромные, неохватные брёвна местами лопнули или подались на излом, из которого грозились высыпаться в реку крупно дроблённые камни. Стена была лишь клетью, в которую кто-то неведомый насыпал доверху камней.

– Этэ, что это? – закричал изумлённый мальчишка.

– Говорю же, Кунгур, тем более.

– Город лёсо? Он не похож на их дома?! – недоумевал Боляк. – Они живут там, за стенами? И сеун там живёт?

– Стены – это кремль. Уй, крепкое место! Из-за стен с врагом воюют, – пояснил Русай. – А живут в посаде.

Боляк мало что понял и решил обдумать увиденное потом, тем более река бежала и бежала, и нужно было править. Но увиденное Боляком было не меньше, чем самое расчудесное чудо. А больше всего поражало, что у людей, создавших такие стены, взгромоздивших кремль на эту неприступную кручу, мог быть какой-то враг!

А через реку, как ни в чём не бывало, сновали лодки с сеном, дровами, людьми. Плескались на мелководе ребятишки; коровы, забредя по брюхо в воду, нехотя охлопывали себя мокрыми хвостами по бокам. Бабы на мостках полоскали бельё. Всё вокруг было сонное, оплывшее, будто и не случалось ничего от веку.

И Боляк понял: сказочный град на горе – заколдованный. Он видится и открывается не каждому, а лишь тому, чьё сердце, как сердце Боляка, способно вмиг начать гудеть и чутко отзываться на всякое новое, всякое внешнее.

Гора закончилась, берег разлёгся коровьей лепёшкой, а за ней вспушилась зеленью плоская, ровная земля. Она разбегалась во все стороны до переливающихся у окоёма, совсем уж бескрайних гор. Облака летели по синему небу, будто реяли на ветру расшитые ленты из косы Весняны. Они полыхали, трепетали и рвались к дальним горам, словно замороженные их красотой, и сваливались за них, исчезая в прорве окоёма.

А до этой прорвы чего только не было! Виднелись и церкви, и избы, и юрты, и таскаки. Мелькали и сплетались в пёстрый ковёр колодцы и дозорные башни, конюшни, сараи, заплоты, пустыри с козами, наезженные грязные дороги с застрявшими повозками и лёгкие нартовые пути, по которым с гиканьем неслись вслед за оленями летние сани.

И Боляку показалось, что в кунгурский посад вместились бы таких павылей, как Карьево, – как зерна в амбар. И это тоже было чудо.

Но на него Боляк смотрел уже снисходительно и даже с некоторой обидой. Дескать, «Эх вы, люди! Таковую создали красоту, таких натворили чудес, и ничего не замечаете...» Вероятно, так глядит из мутного ила оплётанным глазом на небеса Иткаська...

Глава 5 Кочебахта

Было жаркое раннее утро. Из тумана выпревало солнце. Его лучи, будто крупницы соли, взбивали туманную квашню, отчего она тотчас опадала, выстилалась над водой, будто раскатанное тесто, и затем пригорала на водной глади, как на сковороде.

Боляк грёб левой рукой, а правой, обёрнутой в тряпицу, под которой за два дня набились сочащиеся сукровицей мозоли, отщипывал от ещё не остывшего за ночь каравая куски. Когда сжимал ладонь – крест колол. Разжимал – и боль отпускала.

* * *

За остаток вчерашнего дня и минувшую ночь много чего случилось. Миновав кунгурский посад, Боляк с Русаем всё так же гребли по Ирени, опять взявшейся крутить замысловатые петли. Каменнолобые плоские горы теперь были вдаль, появляясь то справа, то слева.

По берегам тянулись пастбища и сенокосы. И всюду виднелась хозяйская рука, всюду присутствовал человек, если не сам, так делами, обустройством мира под себя и свои нужды.

И Боляк отошёл от внезапной обиды на кунгуряков. И вправду – чего он от них хотел? Чтобы они стояли на коленях под крутобокой кунгурской горой и молились кремлю, как истукану? Сам-то он так не сделал. Проплыл, пусть и благоговейно, но шапки не ломал! Так чего ожидать от других?

А краюха солнца уже макнула в кринку вечера, вызревал закат. Пошла плескать по воде всякая рыба: то строча мелким стежком, то ухая тяжёлым шлепком. Взнялась над водой летающая живность, и вдруг села на нашву²⁷ челна большая переливчатая красивая стрекоза.

Она глядела на Боляка огромными, будто отлитыми из меди глазами, и в них отражался и сам Боляк, и то, что было за его спиной: река, дальние холмы, да весь его двухдневный путь. Но что ему было до прошлого пути, когда впереди Гляден?! Вот о чём потребно думать! И Боляк походя прихлопнул стрекозу веслом. Она свалилась в воду, и тотчас из тёмной глубины подхватил её чей-то большой белёсогубый рот.

– Подуст, что ли? – удивился Боляк, вырвал с макушки волос, разорвал его на две части и бросил справа и слева от челнока. Ибо известно же, что подуст – это переродившийся утопленник, чья душа за давностью утопления тела истаяла, истлела да и выродилась во множество губастых донных рыб. А иначе как объяснить, откуда у подуста внутри брюха чёрные полосы, точь-в-точь как пятна на теле у утопленника?

А пливший рядом Русай ни с того ни с сего взялся выговаривать Боляку за убитую стрекозу:

– Эй, Боляк-человек! Стрекозу убил – нехорошо. Она ведь почти человек, тем более.

Вившаяся в опушке из ивовых кустов река пошла на ширь и прямь, без всплесков и водоворотов, так что можно было спокойно поговорить. Но только Боляк открыл рот, как вдруг увидел такое диво, что всё увиденное прежде померкло, будто вечер на воде.

Ирень раздалась. С правой стороны в неё вливался такой огромный, такой широкий поток, что захватывало дух. Будто пруд мельника Афыла взяли и увеличили вдвое, а то и втрое, и он теперь исходил в Ирень, но не бурным, губительным валом, а плавным, спокойным натёком.

²⁷ Нашва – то же, что и борт лодки. Но слова «борт» герои знать не могли, оно голландское, поэтому «нашва» – нашитые на каркас лодки доски.

И челнок Боляка влекло туда легко и свободно. И сам он плыл без опаски, будто в объятия матери.

– Этэ, что это? – только и спросил он.

– Сылва, – буднично ответил отец. – А мы сейчас в иренском устье. Здесь Ирень встречается с Сылвой – звонкой водой, и дальше течёт уже она. По ней теперь и поплывём мы!

– Где же она раньше была, этэ?

– За Кунгуром текла, с другой стороны кремлёвой горы.

Боляк молчал, не в силах понять, как такая красота может существовать на свете, а более – от того, что кунгурские люди, неблагодарные миру за ту красоту, что Боляк уже видел, владели ещё большей красотой – Сылвой.

– Сылва – добрая река, – продолжил Русай. – Течёт она почти от самого Камня, но нет на ней ни порогов, ни заломов. Маунт её хранит, тем более.

– Маунт?

– Добрый змей, некоторый ящер. Живёт в земле.

– Как ящер может быть добрым, если он изрыгает пламя? – удивился Боляк.

Ему, как и всем людям поречья, было известно, что все ящеры, кроме Эри, дышат огнём. Но Эри – особый случай, он такой один. Эри не изрыгает, а пожирает пламя. И поэтому у иренской воды не жгут костров.

– Укротили, дак! – развёл руками Русай. – Теперь Маунт дышит льдом, а не пламенем.

– Кто его укротил? – округлил глаза Боляк.

– Наверное, те, кто Кунгур ставил, – пожал плечами отец. – Раньше Маунт под землёй где хотел, там и ходил: с одного берега Сылвы на другой, тем более. А потом пришёл Ермак и прямо над его жилищем поставил часовню.

– Что такое часовня?

– Церковь видел? – Русай поднял над головой хуап, показывая, какой большой дом строят лёсо своему богу. – А часовня поменьше. В ней живут помощники бога русских.

– Видать, мало у него помощников, раз в маленькой избушке все умещаются, – хмыкнул Боляк.

– Что ты, пэхи! Каждому помощнику – отдельная часовня! И вот Ермак поставил часовню на берегу Сылвы и закрыл ход Маунту в одну сторону. А затем лёсо поставили город на горе, что на другом берегу реки, и Маунт стал ходить вдоль реки.

– И Маунт не осерчал? – изумился Боляк.

– Добрый, дак! – развёл руками Русай. – У него под землёй такое царство, вовек не обойти...

А Боляк подумал: «Что за люди – красоту не видят, добро заперли?!»

Сылва струилась и звонко журчала, несла судёнышки путников среди раздвинувшихся далёких берегов. Казалось, она вмещала теперь пять или шесть таких славных и мощных потоков, как Ирень. А вот водоворотов, бурунов, стремнин в ней, наоборот, убавилось. Вода, не в пример тёмно-зелёной малахитовой иренской воде, блестела и искрилась мягким, добрым светом. И вздыбившаяся слева огромная протяжённая гора невиданной высоты и длины, вся испещрённая, будто жаба бородавками, не добавила в неё черноты.

Да и вбившаяся с левого берега в Сылву жёлтая река Бабка, о чём поведал Боляку Русай (а иначе бы он и не заметил), нисколько не разбавила этот цвет. На Бабке о чём-то бранились мужики и бабы, но Боляк со стремнины не расслышал слова.

– Этэ, – в трепетном восхищении, на тихом выдохе спросил мальчик. – Она всегда такая, Сылва?

– Увидишь завтра, тем более, – сказал Русай. – А сейчас правь наискось к дальнему берегу, под те камни. Ногаев лог это. Там и заночуем.

Когда лодки ткнулись в заросшее кувшинками мелководье под широкими, будто горшки, камнями-скалами на правом берегу Сылвы, солнце уже село за окоём, и свет вокруг переходил в полумрак тихими наплывами, будто моргал ресницами сонный ребёнок. Русай подтянул сперва свою лодку, затем челнок, велел Боляку вынимать котёл и разводить костёр, а сам шмыгнул в кусты.

Боляк взялся ворошить в мешках, но котла в них не было. Зато нашлись три берестяных туеса с мёдом, завёрнутые в вощёную тряпицу соты и меха – ладом подобранные одна к одной собольи, куньи, горностаевы, бобровые шкурки.

Парнишка пробовал поискать котелок в лодке у отца, но там громоздилось столько разных тюков, и они были так плотно увязаны, что Боляк быстро отступился.

Он споро наломал хвороста, раздул костёр и подопнул к огню несколько забытых кем-то поленьев. Костёр полыхнул, и вмиг пропала густая небесная синева за остывающим через реку берегом. Небо стало тёмным-тёмным, вода – блескучей, будто это был бок гигантской сороги, а их берег – ярким, выразительным, выпуклым.

Тихим всплеском накатила низкая, ленивая волна и облизала галечный плёс. Гальки заблестели, засияли, заискрились, зашлись многоцветьем, будто были это не речные окатыши, а россыпи самоцветов на богато убранной сбруе самого большого батыра. И откуда что берётся? Кто создал такую красоту? И для чего?

А Боляк вспомнил, что старый Карья-пам велел собирать всякие гальки, чтобы... Вот ещё докука, вспоминать! Видать, это боги наделали галек, а потом растеряли, дурные, дак. Вот Карья-пам их обратно богам и относит...

Найдя чистую тряпицу, Боляк стал собирать камешки. Поначалу он поднимал их, разглядывал, оглаживал пальцами, взвешивал на ладони. Синие и продолговатые ему нравились больше, нежели округлые и красные, но в красных было больше весу. И всё же краше тех и других были зелёно-бурые. Они были сплюснуты точь-в-точь как лепёшки, что пекла его мать, смешливая медноглазая Ханет. А ещё хороши были белые камни. Они хоть и мелкие, но такие ровные, такие гладкие! И как выбрать?

А ведь попадались и полосатые, встречались крупитчатые и чёрные, пестрели многоцветные и двухцветные, с ровной границей, будто яйца сошедшейся с котом курицы. Подворачивались и жёлтые. Их было немного, и все плоские. Такие неудобно собирать в тряпицу, зато ими хорошо пускать по воде блинчики. Но, глядя на уже собранную горстку, Боляк понял, что жёлтого-то цвета ему для порядку и на радость взору как раз и не хватает. Примет ли Карья-пам в подношение такой бедноцвет?

Надо лучше искать, решил Боляк.

– Эй, костёр, свети пуще! – он дунул в огонь, тот полыхнул, и Боляк подкинул хвороста.

В разошедшемся окружьем свете, почти на самом его краю, где озарённое пространство почти истаивало на бледнеющие радужные цвета и сливалось с мраком выпевающей ночи, Боляк и увидел то, что нужно. Этот камень был и небольшой, и жёлтый, и приятно взблёскивал.

– Ух ты! – Боляк в два прыжка оказался возле камня. Тот больно впился в ладонь.

Разжав пальцы, мальчик увидел, что это была не галька, а старый, медный, в зелёных лишайных наростах нательный крест, какие носили, не снимая, лёсо-русины.

Боляк потёр крест, и на его неровно отлитых гранях заиграл яркий блеск. Крест был небольшой, но и не сказать что маленький – наверное, с половину ладони. Ушко для гайтана надломилось и лопнуло, весь крест покрывали потёки и бурые пятна. Его концы утолщались, будто набухали каплями. На перекрестье проступало распятие – измождённый облик русского бога с вытянутыми на излом конечностями.

Крест был непростой – угадывалась в нём старательная и умелая работа. Такой не мог принадлежать обычному мужику – землепашцу или, допустим, дегтярю Колмаку.

Послышались шаги, и Боляк спрятал находку за пазуху.

* * *

– Как же? Куда же? – разводил руками Русай.

Он не мог взять в толк двух вещей: куда делся его известный на всю Ирень медный котёл и почему ясачные шкурки, вместо того чтобы находиться в доме Карьи, были у Боляка в челноке.

Мало-помалу всё прояснилось. Боляк ещё в павыле, отправляясь к Карье по заданию отца, перепутал мешки. И вместо хиира с ясачными шкурками и туесами с мёдом из лодки Русая отнёс Карье мешок с котлом и прочими походными пожитками, что лежал в челноке, вот и весь сказ.

И теперь Русай горевал неведомо отчего больше – то ли оттого, что они с сыном остались на весь поход без горячего хлёбова, то ли потому, что ясак не был уплачен. А ещё он считал, что без котла всё пойдёт наперекосяк.

– Котёл на реке – мера всего, тем более! Еду вечером готовишь – путь закончил. Еду утром греешь – путь начинаешь. Всякой вещи котёл важнее. Нет котла – какая вещь теперь важнейшей будет?! Всё нарушено!

Боляк слушал и не понимал, о чём говорит отец.

– Уй, дьяк расстроится, уй, сеун расстроится, тем более, – горевал Русай. – Скажут, дурак стал Русайка, старый стал Русайка, обманщик стал Русайка: обещал ясак дать и соврал.

Притихший Боляк тоже горевал. Но не из-за котла, а потому что огорчил отца. «А ну как он и вправду повредился умом и теперь не сможет отличить, какая вещь какую имеет меру! – думал Боляк. – Смогут ли они тогда добраться до Глядена?»

– Там, на полянке, идол есть, схожу у него спрошу, – порывался Русай, но тут же осаживал себя. – Хотя идол совсем старый, ветхий, такой же, нать-то, дурак, как и я, что он мне посоветует?!

– Толкаться на шесте до Кунгура, ли чё? – не унимался Русай. – Искать там дьяка? Ай, утро вечера мудренее, поспим, что ли, тем более?

Но перед сном требовалось перекусить. Наскоро перехватив голод медовыми сотами, Русай заявил, что на ночь есть вредно. «Вообще есть – уй, вредно!» – подытожил он.

– Почему? – озадачился Боляк.

– А как же! Будешь много есть, не заметишь, как Рящека проглотишь. Рящек – демонёнок безвредный, вот только когда он в желудке селится, хозяином желудку не человек, а Рящек становится. И постоянно еды требует!

– Этэ, – охнул Боляк. – Нать-то, у меня выводок Рящеков в животе! Все кричат: корми!

Русай задумался и полез в лодку за удилищем.

– Вот бы стрекозу-две нам сейчас, – бормотал он. – Быстро же мы с такой наживкой головлей бы наладили. Крючки есть, тем более.

– Как это, стрекозу? – удивился Боляк. – Ты же сам запретил стрекоз убивать. Она же почти человек, ты сказал...

– Так что ж, сказал, – не стал отпираться Русай, затачивая и опаливая тонкий кол. – Тебе нельзя, рыбе можно. Давай-ка пали лучину, поедем лучить острогой рыбу.

Боляк требовал пояснений. Русай отмахивался, говоря, что убивать стрекоз нельзя, а рыбачить на них дозволяется. Но Боляка такой ответ не устроил, впрочем, до поры он отложил расспросы, ибо настала пора новому, да какому удивительному делу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.